

Алексей Михайлович Ремизов

ПЕТУШОК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На Ильин день у Петьки корова пятиалтынный съела.

После всенощной, как спать ложиться, дала бабушка мальчонке денежку серебряную – пятнадцать копеек на гостинцы. В Ильин день из Кремля крестный ход к Илье Пророку ходит на Воронцово поле, большой с корсунскими крестами, и жандармов на конях много едет, а за обедней на церковном дворе в садике, у церкви под хоругвями гулянье: квас клюквенный продают, игрушки, ягоды всякие, кружовник, груши и мороженое. Петька до ягод охотник и мороженое страсть любит, – пятиалтынный ему на руку. Так с пятиалтынным и ночь спал.

Вернулась бабушка от ранней обедни от Николы Кобыльского, а Петька уж на ногах: и самовар приготовил и сапожонки себе ваксой начистил, принарядился, – в пору хоть со двора сейчас. И сколько раз, ждавши бабушку, юла картуз себе примерял – картуз у Петьки с козырьком лаковым; раньше-то соломенную шляпу таскал, а как поступил в городское училище, картуз ему бабушка купила. И ремень подтянул до самой последней дырочки, тоже лаковый, оправил свою черную суконную курточку с двумя серебряными пуговками на вороте, только с штанишками плохо – штанишки парусиновые, вымыты начисто, вымыла их бабушка сама и выгладила, да коротеньки: голенища пальца на два видны, – ну, и Петька растет, и штанишки в мойке сели.

– Я, бабушка, тебе самовар в одну минуту поставил! – встретил Петька бабушку, на одной ножке прискакивает.

– Умник ты у меня, Петушок! – заморилась за обедней бабушка, и чаю попить ей хочется.

Бабушка сама самовар ставит долго, так Петьке всегда казалось, что долго: бабушка сперва золу вытряхнет, наложит немного угольков, на уголья лучинки, а потом, как уголья зашипят, еще подложит, и так раза два подложит. А Петька прямо с золой, не вытряхивая, полон самовар напихает углями, зажжет лучинки-щепочки и на щепочки угольков еще положит, и самовар будто бы сразу гудеть принимается.

– Умник ты! – повторяет бабушка: рада она, что самовар на столе шумит, и не спеша попьет она чайку, отдохнет малость до крестного хода.

Бабушка богомольная, не пропускала она ни одной службы и, когда случался покойник у Николы Кобыльского, пойдет и за обедню и на панихиду со свечкой постоять, во все крестные ходы с Петькой ходила.

Села бабушка за стол чай пить, но и кусочка просвирки не прожевала, Петька уж торопит, тормошит бабушку идти крестный ход встречать.

А куда рань такую! Крестный ход, поди, из Кремля не тронулся, крестный ход только-только

что собирается, и у забора морозовского, поди, и дворники не стоят еще, сидят себе в теплой дворницкой, чай пьют.

Бабушка с Петькой обыкновенно встречали крестный ход в Введенском переулке на морозовском решетчатом заборе. Устраивались просто: сначала полезет Петька, а за Петькой и бабушка вскарабкается; лазала старуха на забор, и хоть трудно ей было, да зато виднее с забора, и не раздавят.

– А то я, бабушка, один пойду! – Петька надел свой картуз с козырьком лаковым и уж к двери.

Боится бабушка Петьку одного без себя пускать, боится, раздавят ее Петьку.

– Тебя, Петушок, еще раздавят!

– Не раздавят, бабушка, меня, мне, бабушка, в прошлом году жандарм конем на палец наступил, больно ка-ак! А ничего. Я пойду, бабушка.

Страшно бабушке и ровно обидно: всякий год ведь вместе ходили – впереди Петька, за Петькой бабушка в своей старенькой тальме и с зонтиком, зонтик бабушка от солнца не раскрывала и носила его, держа не за ручку, а за кончик, так что ручка земли касалась. И отпустить ей без себя не хочется Петьку, и передохнуть хочется, чаю не спеша напитокся!

Что поделаешь, не удержать мальчонку!

Пошел один Петька.

Утро выдалось хорошее, свежее, будет нежаркий день. Петька ли намолил у Бога такой славный денек или сам праздник – Илья Пророк послал такую благодать, хорошо будет крестному ходу идти, заблестят все хоругви золотые, и батюшкам хорошо будет идти, сухо, и певчим петь.

Петька вышел на крылечко, пятиалтынный у него в кулачке, – много он купит кружовнику красного волосатого и мороженого съест на пяточок шоколадного. Петька прислушивался: где-то далеко звонили, но очень далеко. Должно быть, вышел крестный ход из Кремля и в тех церквах, мимо которых шел крестный ход, звонили.

«На Ильинке или на Маросейке... у Николы –

Красный звон!» – смекнул себе Петька и вдруг увидал корову.

По двору ходила дьяконова корова, постановная сытая рыжая корова[1].

Петьке всегда было приятно, когда встречал он дьяконову корову, молочную, буренушку, как называла бабушка корову.

– Здравствуй, буренушка! – Петька вприпрыжку подскочил к корове, протянул руку, чтобы погладить... денежка заиграла на солнце, выскользнул пятиалтынный, а корова языком денежку и слизнула, отрыгнула и проглотила.

Туда-сюда – проглотила.

Покопался Петька в траве, пошарил камушки, походил вокруг коровы, постоял, подождал, не выйдет ли денежка... Нет, серебряной нет его денежки, съела буренушка, отняла она у Петьки его ильинский пятиалтынный.

С пустыми руками пошел Петька к Илии Пророку.

Вернуться ему, сказать бабушке? Бабушка скажет: «Вот не послушался, пошел один, корова и

съела!» Да и не даст уж никогда серебряную денежку. «Куда, скажет, такому давать, – все одно, корова съест!» Нет, лучше не говорить бабушке. А как же кружовник и мороженое? Да так уж, придется обойтись без кружовника и мороженого... А заметит бабушка? Ну, не заметит. Скажет он бабушке, что целый пуд кружовнику съел и мороженого сто стаканчиков... А не поверит бабушка? Поверит! Кружовник дешевый – дешевка, так сама бабушка говорит, и что ж тут такого: купил пуд и съел. И денег у него немало, серебряная ведь денежка, не пятак, – пятиалтынный! Да нет у него никакого пятиалтынного, корова съела!

«Экая корова, – упрекал Петька свою любимую буренушку, – зачем ты у меня денежку съела! А какой кружовник красный, волосатый, мороженое шоколадное вкусное... сто стаканчиков!»

Шел Петька и все думал о своем пятиалтынном, который нельзя вернуть. И был один способ: признаться бабушке и чтобы бабушка новый дала. Но откуда взять бабушке? Деньги не растут, говорит сама бабушка, серебряных у ней наперечет, копеек вот, тех много... Петька шел мимо Курского вокзала, мимо Рябовского дома дикого, в котором, думал Петька, никто никогда не живет, а стоят одни золотые комнаты, шел на Воронцово поле к Илии Пророку.

Весь Введенский переулочек травой устлал, всю мостовую покрыли свежей накошенной травой, тут была и Хлудовская трава и от Найденовых и от Мыслина, все прихожан богатых. Ноги скользили по траве, и Петька ухитрился озеленить штанишки. В траве попадались цветы, и от цветов пахло полем, напоминало о богомолье – Петька с бабушкой всякое лето ходил на богомолье. Петька вдруг забыл о своем съеденном пятиалтынном, зажмурился: так чутко, так ясно почувствовал он землю-траву под ногами, и перенесся под Звенигород на дорогу полем – там цветы-колокольчики, и лесом – там кукует кукушка, к Саввинскому монастырю, а от Звенигорода, от Саввы Преподобного к Николо-Угреше, а от Николо-Угрешки к Троице-Сергию.

По переулочку уж спешил народ в церковь, задерживались на тротуаре, выбирали поудобнее, повиднее местечко стать. Звонили ближе, кажется, совсем близко: у Троицы на Грязях. Нет, Петька ошибся, еще далеко: это звонили у Косьмы и Демьяна.

На морозовском заборе еще никого не было, никто не сидел. Только дворники у ворот стояли, да кучер морозовский в плисовой безрукавке, черный, волосы коровьим маслом смазаны. Петька тоже когда-нибудь, когда будет большой, смажется коровьим маслом, и у него волосы такие же будут черные, как у кучера, а пока ему бабушка, после бани только, смачивает их квасом.

Петька взобрался на морозовский забор и стал глазеть, дожидаться и крестного хода и бабушки.

«Где-нибудь на дворе сыщу, – нет-нет да и вспоминалась Петьке его несчастная денежка, – не пропадет!»

От денежки к крестному ходу – где, в какой церкви звонят, все прислушивался Петька, от крестного хода к морозовскому кучеру, от кучера к траве и богомолью, так переходили коротенькие мысли маленького Петьки,

Петушка, как звала мальчонку бабушка.

Пришла бабушка с своим зонтиком, вскарабкалась к Петьке на морозовский забор, ударили у Введения в Барашах, показался крестный ход, загорелись золотым огнем тяжелые хоругви, зазвонили у Илии Пророка, и утешился Петька.

«Даст ему бабушка новую денежку, а не даст, и без кружовника, и без мороженого сыт будет!»

ГЛАВА ВТОРАЯ

У бабушки никого нет, кроме Петьки. Петька – сын племянника ее, внучонок. Племянник – пропащий, был в полотерах, в чем-то попался, долго ходил по Москве без места, нашел наконец должность в пивной у Николы на Ямах, прослужил зиму в пивной, отошел от места, поступил на завод к Гужону и от Гужона ушел и, должно быть, в золоторотцы[2] попал на Хитровку, а там и пропал. Хоть изредка, заходил он к бабушке, заходил денег просить, хмельной. Бабушка племянника боялась и называла его

разбойником .

Петька с бабушкой жили на Земляном валу у Николы Кобыльского, комнату снимали в подвале. Прежде, когда силы были, бабушка без дела не сидела и не могла пожаловаться, без булки за стол не садилась, как говорили соседи, а теперь глаза ослабели, работать больше не может, да и годы большие – бабушке шесть лет было, когда Александра Павловича государя через Москву провозили из Таганрога, вот уж ей сколько! Поддерживали бабушку добрые люди, из попечительства выдавали ей всякий месяц, и Петьку ее в городское определили. Бабушку Ильинишну Сундукову на Земляном валу все знали, знали и на Воронцовом поле и в Сыромятниках. Кое-как перебивалась бабушка с Петькой.

Комнатенка их тесная. До Сундуковых жили в ней две старушки Сметанины, богомольные, как бабушка, померли Сметанины, на их место и перебралась бабушка с Петькой. А прежде занимала бабушка комнату попросторнее, теперь там маляры живут.

Комнатенка бабушкина вся заставлена. Стоит у бабушки комод, от ветхости вроде секретного – средний ящик никак не отворить, только с правого бока и то на палец, а про это знает одна бабушка, спрятаны в ящике серебряный подстаканник с виноградами, две серебряные ложки – на ручках цветы вытравлены мелкие с чернью, все добро Петькино, будет ему после бабушки. Есть у бабушки гардероб и тоже не без секрета: открыть дверцу отворишь, но тут и попался, дверца так и отвалится, – одна бабушка умеет как-то так в дырку какую-то шпынек вставить, и дверца на место станет и гардероб запрется. Есть у бабушки сундучок дубовый, железом обитый, смертный, хранит в нем бабушка сорочку, саван, туфли без задников, холстинку, на смерть себе приготовила; в этот самый сундучок, как-то осенью, когда на дворе капусту рубили, складывал Петька тайком капустные кочерыжки: думал, пострел, бабушке угодить – полакомить ее на том свете кочерыжкой. Ну диванчик стоит, с виду совсем еще ничего, только если неосторожно сядешь, о деревяшку так и стукнешься. В углу киот, три образа: верхний – маленькие иконки от святых мест и всякие медные крестики и образки, пониже образ

Московские чудотворцы – Максим блаженный, Василий блаженный, Иоанн юродивый[3], стоят один за другим, Василий наг, Максим с опояскою, Иоанн в белом хитоне, руки так, молебно перед Кремлем московским, над Кремлем Святая Троица, а над блаженными дубрава – мать-пустыня – пещерные горы, горы языками, огненные, как думал Петька, икона древняя, и другая икона, по золоту писанная.

Четыре праздника – четыре Богородицы – Покров, Всем Скорбящим Радости, Ахтырския, Знамение, еле держится, тоже древняя. Под киотом три клубка веревок: клубок толстой веревки, тонкой и разноцветных шнурочков, за многие годы собранные бабушкой. Наконец, индюшка, – вот и все добро.

Бабушка Петьку накормит и индюшку не забудет. Индюшка жила на дворе в сарае, сарай рядом с коровником, чахла индюшка и уж такая старая, как бабушка, и только за бабушкой

повторять не может бабушкино «Господи Иисусе!» – а так, кажется, все понимает, жизнью своей дошла, старостью.

Петька, когда был совсем маленький, индюшку боялся, но с годами привык и любил ее рассматривать: сядет в сарае на корточки перед индюшкой и смотрит – занимала Петьку голова индюшки, розовая в мелких розовых бородавках. А индюшка стоит-стоит, наежится и тоже присядет. И сидят так оба: Петька и индюшка.

«У кур дьяконовых цыплята, у Пушка котятки, а у индюшки нет ничего, – почему?» – не раз задумывался Петька.

И не раз, сама с собою раздумывая, говорила бабушка:

– Хоть бы послал Бог яичко нашей индюшке, вышли бы петушки-индюшонки!

«Все от яичка, пошлет Бог индюшке яичко, выйдут петушки!» – смекнул себе Петька.

– Бабушка, а если Бог пошлет индюшке яичко?

– Дай Бог!

– А дальше что? – проверял бабушку мудреный Петька.

– Сядет.

– Как, бабушка, сядет?

– На яйцо, Петушок, сядет, вот так, – бабушка присела, ну точь-в-точь как сама индюшка, – двадцать один день сидит, три недели, только поесть встанет и то через день, а то и через два, потом куран-петушок выйдет[4].

– Бабушка, а куда же мы петушка деваем?

– С нами жить будет.

– Бабушка, мы его в клетку посадим, он петь будет? Как соловей, бабушка, да?

– Да, Петушок, маленький такой, желтенький с хохолком...

– Бабушка, мы воздушный шар сделаем, полетим, бабушка!

– Что ты, Петушок!

– Полетим, бабушка, там с петушком поселимся на шаре, мы в шаре будем жить. Хорошо?

Бабушка долго молчала. А Петька, тараща глаза, смотрел куда-то через бабушку, уж видя, должно быть, тот шар воздушный, на котором жить будут: он, петушок и бабушка.

– Не согласна, – сказала бабушка, – я уж тут помру, на шаре не согласна.

– Бабушка, – Петька о своем думал, не слышал бабушку, – все от яичка?

– Пошли ей Господи! – бабушке страсть хотелось, чтобы снеслась индюшка, и о петушке она замечтала не меньше, чем сам Петька.

Забыл Петька о ильинской денежке, не пенял корове, что съела его денежку, не надо ему никакой денежки, надо ему петушка индейского. Но как достать яичко, как устроить, чтобы Бог послал индюшке яичко, из которого все выйдет, петушок выйдет?

«У дьякона взять, дьяконово, подложить его под индюшку, – ломал себе голову Петька, – у дьякона кур много, яиц куры кладут много... И всего-то ведь одно, только одно и надо! А ну как хватится дьякон, меченые они у него, – Петька уж и в ларь дьяконов лазал! – с меткою: число и день написаны, поймают, и сделаюсь вором. Придется вором на Хитровку идти. А бабушка? Как она одна жить будет? «Я только для тебя и живу, Петушок, а то помирать давно бы пора!» – вспоминались слова бабушки, – нет, у дьякона не надо брать. Но где же, где добыть яйцо? И всего-то ведь одно, только одно яичко!»

Случай вывел Петьку на путь. Задумала бабушка побаловать своего Петушка, угостить его яичницей-глазуньей, послала Петьку в лавочку за яйцами, три яйца купить. Петька два яйца бабушке принес, а третье утаил, сказал, что яйцо разбилось.

– Вот, Петушок, корова у тебя денежку съела, а яйцо ты разбил! – жалко было бабушке разбитого яйца.

А Петьке... да в другое время он и к яичнице не притронулся бы от досады, но теперь, когда в кармане у него лежало яйцо, из которого все выйдет, петушок выйдет, ему горя мало: пускай бабушка что хочет, то и говорит про него. Наскоро съел он свою яичницу, губ не обтер, прямо в сарай к индюшке. Подложил ей яйцо под хвост, ждет, что будет, а индюшка и не смотрит, будто и яйца никакого нет, не садится.

«Что же это значит? А ну как не сядет?»

– Садись, индюшка, садись, пожалуйста! – Петька присел на корточки, уставился в индюшачьи розовые бородавки и так замер весь на корточках, не дыша, не шевелясь, с одной упорною мыслью, с одним жарким желанием, с одной просьбою: «Садись, индюшка, садись, пожалуйста!»

Индюшка наежилась и присела, прямо на яйцо, так на самое яйцо и села.

И Петька долго еще сидел, не сводил глаз с индюшки с одной упорною мыслью, с одним жарким желанием...

Индюшка сидела спокойно, крепко на яйце курином.

Тихонько поднялся Петька, тихонько вышел из сарая, забежал за сарай, прилип к щелке: индюшка сидела спокойно, крепко на яйце курином.

Бабушке сказать? Нет, пускай бабушка сама увидит. А как бабушка обрадуется, когда увидит на яйце индюшку!

Весь день Петька караулил за сараем у щелки: следил за индюшкой, поджидал бабушку. Пришла бабушка в сарай, принесла корму дать индюшке.

– Слава Тебе, Создателю! – шептала старуха, крестилась, тычась по сараю, не веря глазам, ничего не понимая: индюшка снесла яйцо, индюшка на яйце сидела!

Вечером, после долгого дня, чудесного, лег спать Петька, легла и бабушка. Вертелся, не спал Петька, все ждал, когда начнет бабушка о индюшке. С бока на бок поворачивалась бабушка: и хотелось ей новость сказать, и боялась, не сглазить бы.

Крепилась, крепилась старуха, не вытерпела.

– Петушок! – покликкала бабушка.

– Бабушка! – догадался пострел, в чем дело, и будто со сна откликнулся.

– Ты не спишь, Петушок?

– Что тебе, бабушка?

– Бог милости послал! – бабушка даже засмеялась, задохнулась от радости, – яичко, индюшка села...

– Села, бабушка?

– Села, Петушок, сидит... – бабушка тоненько протянула и закашлялась.

– Что ж, бабушка, куран у нас будет, петушок?

– Куран-петушок, он самый индейский, – шептала бабушка, словно в куране-петушке индейском заключалась вся тайна, все счастье жизни ее и Петьки.

– Он у нас жить будет?

– С нами, Петушок, где же еще?

– А мы его, бабушка, не съедим?

Бабушка не подала голосу, заснула бабушка, обласканная, обрадованная милостию Божией – кураном-петушком индейским, который через двадцать и один день выйдет из яйца куриного.

Чуть потрескал огонек лампадки перед образками и крестиками, перед

Четырьмя праздниками – Покровом, Всем Скорбящим Радости, Ахтырской, Знамением, перед

Московскими чудотворцами – Максимом блаженным, Василием блаженным, Иоанном юродивым. Горы матери-пустыни, огненные от огонька ночного, пламенными языками врезались в Кремль московский.

– Я, бабушка, петушка любить буду! – и заснул Петька, Петушок бабушкин.

Всякий день, и надо и не надо, навевалась бабушка в сарай к индюшке, всякий раз благодарила она Бога за милость, ей ниспосланную, считала дни. И Петька дни считал и беспокоился не меньше бабушки, забыл он запускать змеев своих, забросил змеиные трещотки, забыл он, что яйцо им самим подложено, и верил в него, куриное, как в настоящее, индюшкой самой кладеное.

А индюшка, вопреки всяким индюшиным обычаям, без поры, как села, так и сидела на яйце курином спокойно и крепко, и не думала вставать с яйца, погулять по сараю. Оттого ли, что сроду никогда до старости своей глубокой не неслась она и понятия не имела ни о каких яйцах ни о своих, ни о куриных, или Петька тут действовал желанием своим, или бабушкино терпение услышано, жар наседочный загорелся у ней, как у заправской наседки, и розовые бородавки на голове ее побледнели.

И прошло двадцать дней и один день.

Петька ночи не спал, – «а ну как петушка не выйдет, болтун выйдет?» – куда там спать! И чуть свет, прямо в сарай смотреть к индюшке.

– Петушок идет, красно солнышко несет! – подскакивал Петька на одной ножке, грея, дыша на петушка и там, в сарае, и там, в бабушкиной комнатенке подвальной, словно в петушке хранилась вся тайна, все счастье жизни его и бабушки.

– Слава Тебе, Создателю! Слава долготерпению Твоему! – обезножела бабушка от радости.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Осень в тот год выдалась сухая и теплая. Солнце, хоть и короткое, оперило петушка индейского: рос, хрипло покрикивал петушок, хорохорился, насканивал на вешних дьяконовых петухов, дрался, как петух заправский. Все сулило в нем пунцовый острый гребень, крепкие шпоры, голосистый голос – куран-петушок индейский!

Не индюшка, куда ей? – индюшка чахла, околевала, – бабушка ходила за петушком и, когда тепло повернуло на стужу, взяли петушка из сарая в комнату. Сбережет бабушка Петькино счастье – выходит петушка, как выходила Петьку, – сберегла свое счастье на старость себе.

С холодом и октябрьской слякотью наступило тревожное время, памятные дни жертв народных и вольности.

То, что на больших улицах в городе погасло электричество, а под боком на Курском вокзале стояли и мерзли блестящие, начищенные паровозы, а за Покровской заставой у Гужона не дымили страшные красные трубы, не пыхало зарево за Андрониевым монастырем, все это, казалось бы, мимо шло бабушкиной подвальной комнаты: не нуждалась бабушка в электричестве, по ночам не выходила за ворота, и в дорогу ей некуда было собираться, и с Гужоном она никаких дел не водила. Но бабушка не одна в подвале: соседи, такие же, как она, подвальные, простой рабочий народ, туго крепкою цепью были связаны и с гужоновскими красными трубами, и с блестящими курскими паровозами, и то, что трубы не дымили и паровозы стояли, вышибло их из рабочей их колеи, перевернуло уклад их трудовой жизни, зашатало землю, стало в их жизни светопреставлением. И чувство, обуявшее улицы, ворвавшись в будничные дни и мысли светопреставлением, переносясь от заставы до заставы, с улицы на улицу, из переулка в переулок, из тупика в тупик, с фабрики на фабрику, из подвала в подвал смутным предчувствием беды какой-то, напасти неминуемой, охватило старую душу бабушки у порога ее смерти.

Пропадавший где-то на Хитровке, сгинувший было совсем племянник бабушкин,

Разбойник, вдруг появился у Николы Кобыльского в бабушкиной подвальной комнатенке.

Сведенная ревматизмом рука, нос будто в три носа один на другом – слоновая болезнь, черный потрепанный плащ, а под плащом – ничего, одно еле-еле поддерживающееся невымытое, закорюзное белье, рвань и тряпки, навели на бабушку страх и трепет. И не того стало страшно бабушке, что

Разбойник будет денег просить, с ножом к горлу пристанет, даст ему бабушка последние, хоть и трудно ей, наголодаются они с Петькой после, стало ей страшно в предчувствии каком-то, будто племянник, отец Петьки,

Разбойник, с Петькой что-то сделает. А что такое сделает и что может

Разбойник сделать с Петькою, бабушка не умела себе сказать, и только где-то, в ее старой душе, ясно сказалось, что Петьке грозит беда, уж вышла беда из своего бедового костяного царства, идет, близится, подкрадывается к маленькому немудреному петушину сердцу, беспощадная, неумолимая, немилосердная.

Племянник не пивши, не евши, голодный, – самовар ему бабушка поставила. Вернулся из училища Петька, сели к столу чайничать.

Петька, наслушавшись от странников на богомолье о жизни подвижников, как дошли угодники до своей святости, мечтал когда-то поступить в разбойники, грех принять на душу, а потом и к Богу отойти, в монастыре – в пещере жить. И вот он сидел за одним столом с разбойником, из одного самовара чай пил, и этот разбойник, племянник бабушки, сам отец его. Петька не отрывал глаз от отца, смотрел на его трехступенный нос и так, с тем пожирающим любопытством, с каким смотрел в сарае на розовые индюшечьи бородавки. И, не зная, чем угодить отцу, перед разбойником удаль свою показать, соскочил он со стула, поймал забившегося под диванчик петушка, поднес его за крылышки.

– Вот он какой, – сказал Петька, – индейский!

– Нам с Петькой только бы петушок цел был, нам с Петькой больше ничего не надо! – словно бы оправдывалась в чем-то бабушка, руки ее тряслись, и голова потряхивалась.

Разбойник подмигнул петушку – славный петушок! –

Разбойник утолял голод, торопился, заедал проголодь свою, – от

рябчика -то как подведет! – ел, весь Петькин обед съел и бабушкин, принялся за чай. Горячий чай распарил его, разморил, развязал язык. И он принялся что-то путано рассказывать, смотря куда-то через Петьку и бабушку, как смотрел Петька, рассказывая о своем воздушном шаре, на котором поселятся он, петушок и бабушка. По словам

Разбойника выходило, что уж чуть ли не все стало можно, не стало никаких законов, нет больше закона, и не сегодня, так завтра капиталы все перейдут в его руки, и тогда начнется расправа, бой кровавый...

– Интеллигенщина... революция... – повторял

Разбойник непонятное, мудреные слова и пальцем крутил себе около шеи, – я на графине женюсь!

И чем больше

Разбойник разогревался, тем мудренее становились рассказы его и неподобнее. Петька с разинутым ртом, смотря в трехступенный разбойничий нос, слушал отца. Бабушка головой потряхивала.

– Нам с Петькой только бы петушок цел был, нам с Петькой больше ничего не надо! – шамкала бабушка, словно бы оправдывалась в чем-то и за себя и за Петьку.

Опрокинув последнюю чашку, ушел

Разбойник с бабушкиной последней мелочью в кулаке. Осталась бабушка с Петькой и петушком индейским. Прибрались, – прибрали самовар, вымыли чашки, смели крылышком в мешочек крошки, выучил Петька урок, посидели, позевали, поиграли в молчанки и скоротали вечер. Потом, помолясь Богу, заглянули под диванчик к петушку: спит или не спит? – петушок уж давно спал, и сами легли спать.

Вертелся, не спал Петька. С бока на бок поворачивалась бабушка: беспокойство гнело ее и страх.

– Петушок! – покликала бабушка: стало ей невмочь терпеть свой страх.

А Петька, ворочаясь с открытыми глазами, разбойником себя видел и из слышанных мудреных отцовских разбойничьих слов городил себе разбойничьи дела, разбойную жизнь.

– Петушок, а Петушок! – еще тише, ласковее покликнула бабушка.

– Что тебе, бабушка? – вскочил Петька, он услышал бабушку: показалось ему, бабушка окрикнула его голосом.

– Это я, Петушок, не бойся, – бабушка со страха едва голос переводила, – ты, Петушок, не уходи никуда...

– В разбойники, бабушка, – живо ответил Петька, – разбойником буду жить! И ты, бабушка, тоже... в разбойники!

– Не уходи, Петушок! – тоненько, чуть слышно пропищала бабушка, неслышно для Петьки, и лежала так пластом в страхе смертном: всякий стук, всякий треск был ей теперь угрожающим, лай собачий грозным, словно уж подкрадывался кто-то к дому их, пробирался к крылечку подвальному, вор – недобрый человек, за Петькой, за Петушком ее.

С открытыми глазами лежал Петька, не Петька, разбойник настоящий, черный, голова смазана коровьим маслом, как у морозовского кучера, нос – три носа, один на другом, рука скрючена, он заберет с собою бабушку, петушка индейского, полетят они на Хитровку в воздушном шаре, будут там разбойничать, будет там бой кровавый...

Чуть потрескивал огонек лампадки перед образками и крестиками, перед

Четырьмя праздниками – Покровом, Всем Скорбящим Радости, Ахтырской, Знаменем, перед

Московскими чудотворцами – Максимом блаженным, Василием блаженным, Иоанном юродивым. Горы матери-пустыни, огненные от огонька ночного, пламенными языками врезались в Кремль московский.

– Я, бабушка, в разбойники поступил! – бормотал сквозь сон Петька.

Неспокойная кончилась осень, наступила зима. Не улеглась тревога у бабушки, а Петька просто от рук отбился: нападет на сорванца икота, и он, – что бы

Отче наш читать, прежде всегда

Отче наш читал, помогало, –

Калечину-Малечину [5] читает! Не успокоилась бабушка, не утишились улицы, холодом, лютью не остудилась Москва, не вошла жизнь в свою полосу буден с их трудом день-деньским и заботами.

По неведомым путям, нечуемым, шла, наступала беда на русский народ, беспощадная, неумолимая, немилосердная, загнала его в чужие дальние земли к чужому народу и там разметала на позор и глумление, вывела в неродной Океан и там потопила грознее бури, непроносной грозы, и темная, ненасытная из чужой желтой земли шла, подступала к самому сердцу в облихованную горе горькую землю, на Москву-реку. По грехам ли нашим, как любила говорить бабушка, в вразумление ли неразумию, как говаривал

братец босой из чайной с Зацепы от Фрола и Лавра, или за

всего мира безумное молчание свое, русская земля, русский народ, онемевший, безгласный, некрепкий, еще и еще раз караемый, отбив три беды, отдавался на новую напастную.

И вот ровно горы пещерные огненные

московских чудотворцев , и въяве огненные, огненными языками планули[б] на Кремль московский, и в ночи дымящее зарево разлилось над Москвою.

После Николина дня, в субботу села бабушка с Петькой за стол, время было обеденное, принялись за еду чем Бог послал – не до бабушки стало в такие дни, забывали старуху, и нередко уж по целым неделям сидела бабушка с Петькой впроголодь.

– Бабушка, – Петька вскочил из-за стола, – слышишь?

Бабушка положила ложку, пощипала корочку.

– Бабушка... – Петька просунулся к форточке.

Бабушка не шевелилась, только голова тряслась, как тряслась при

Разбойнике .

– Стреляют, бабушка! – и Петька выскочил за дверь.

Стреляли в городе далеко, стреляли на Тверской где-то, и ровно из-под земли доносило на Земляной вал глухой ахающий гул – дрожали стекла.

Бабушка не слышала. Петька услышал. И теперь бабушка слышала и крестилась, как при громе.

Наступили мятежные дни. Каждый угол, каждый перекресток стал обедован: ненасытная, темная, карающая, поджидала лихая беда и ночью и днем, и на безлюдье и на людях.

Страшно бабушке Петьку от себя отпускать. Долго ли до греха: уж одни разбойники и виделись бабушке и в съемщиках, снимающих с работы по фабрикам и заводам рабочих, и в дружинниках, и в драгунах, и в казаках, проезжающих по Садовой к Курскому вокзалу. И всё палят, бабушка уж ясно слышит, на Тверской где-то, в Кудрине, на Пресне и тут, два шага, на Мещанской где-то, все палят и палят, и с каждым часом все громче доносится гул до подвала, – то ли хлопает бич, ломают сухие ветки.

С Николина дня бабушка ночи не спала, караулила Петьку, как караулила в первые недели петушковой жизни петушка индейского, как караулил однажды сам Петька за сараем у щелки индюшку на курином яйце.

Рвется на волю мальчонка, не сидится ему в комнате, непоседа.

Побежал Петька с мальчишками на Сухаревку, и бабушка за ним.

То-то Петьке развлечение: в прежнее время так ребятишки горку на льду строили, а теперь улицу загромождали.

Петька схватился за телеграфный столб.

– Тащи! – кричит неугомон бабушке.

То-то горе бабушке: от страха руки трясутся, какие там столбы таскать! лучинка в руках не держится, – подняла бабушка щепочек, так стружек всяких, понесла за ребятишками щепочки и положила их, дар свой, в мирскую заставу – в груду нагроможденного добра к ящикам, решеткам, телеграфным столбам, вывескам.

– Ай да бабка! – подтрунивали над старухой, и какой-то разбойник из дворников зубоскалил, поколачивая сапог о сапог.

– По грехам нашим! – шептала бабушка, уморилась она с своими щепочками, а отстать не отставала от Петьки.

Экий ведь молодец он у ней, взобрался куда, на самую-то вышку под кумачный флаг, заломил картуз, как лихой казак, козырек лаковый, а флаг над ним кумачный, как во?здухи...

– Залезай, бабушка! – кричит Петька своей бабушке, петушок-певун.

Ну и как тут отстать, на самую Сухареву на башню полезешь!

Вечером, когда зазвонили ко всенощной и жутко, на перебой со звоном, врываясь в колокола, разносилась пальба, бабушка стала собираться ко всенощной. Петька вперед побежал и на дворе с ребятишками возился у дьяконова коровника: в казаков затеяли игру и в забастовщиков.

Бабушка, уж одетая в свою ватoshную стеганую кофту, повязанная углом, в своем черном шерстяном платке, заглянула под диванчик к голодному петушку: спит или не спит? – спал петушок. Поправила лампадку, – глядели на нее из сумерек праведные лики: Чудотворцы, Божия Матерь, – и смутно ей стало.

Потужила она, что бедно у них, очень уж бедно стало, праздники подходят, нечем праздник встретить!.. трудно ей и в могилу пора и Петьку жалко... маленький, детеныш, хоть бы на ноги стал! несмышленный детеныш.

– Пресвятая Богородица, Всепетая, Господи, Заступница... – Бабушка сложила пальцы крест сделать...

– Кончайте! – сказал кто-то за стенкой не то у маляров, не то у шапочников, должно быть, съемщик какой.

Бабушка вздрогнула, обернулась, а в дверях племянник –

Разбойник стоит.

– Давай, старуха, денег! – наступает.

Бабушка затрясла головой: хоть голову режь, нет у ней ничего.

– Нет, говоришь? – наступал

Разбойник .

– Истинный Бог... нет.

Разбойник бабушку за шиворот, носом ткнул в комод.

– Ищи, говорю!

Бабушка пошарила под киотом и молча, – язык от страха не слушался, – подала

Разбойнику три клубка веревок: клубок толстой веревки, тонкой и разноцветных шнурочков, скопленное добро за много лет...

Разбойник стукнул кулаком старуху, покатился клубок, присела бабушка, как индюшка перед Петькой, и так застыла на корточках.

Разбойник расправлялся: опрокинул он бабушкин дубовый, железом обитый, смертный сундучок, повыбрасывал смертное добро – сорочку, саван, туфли, холстинку, полез в

гардероб, оторвал дверцу, и там нет ничего, схватился за комод, все ящики перерыл, всё вывернул, нет ничего! Один средний ящик не отворяется, возился, возился, не отворяется...

Подкатившийся клубок разбудил петушка, вышел петушок из-под диванчика и, захлопав крыльями, хрипло запел, запел, как в полночь, на свою голову, маленький такой, желтенький, с хохолком...

Разбойник поймал петушка, свернул ему шею, шваркнул бабушке:

– Подавись! – и пошел.

А там, на дворе у коровника, содом стоял, разыгрались ребятишки. С криком выскочил Петька со двора на улицу – одна ватага другую преследовала, – перебежал через улицу. Проезжавший патруль от Сухаревки, миновав Хишинскую фабрику, расчищая путь, открыл огонь по улице. Петька кувыркнулся носом в снег, схватился за картуз и больше уж не встал.

С разорванной грудью, пробитым сердцем, окоченелого вернули Петьку в подвал к бабушке, и картуз Петькин с козырьком лаковым.

Вот как, вот где, вот откуда беда пришла, принимай!

Все приняла бабушка. Какая она старая, а все в комнатенке своей подвальной живет, живет себе, не пропускает ни одной службы и, когда случится покойник у Николы Кобыльского, пойдет и за обедню и на панихиду со свечкой постоять. Нет никого у бабушки. Отдала она племяннику подстаканник серебряный с виноградами и две ложки серебряные, для Петьки берегла, ну, теперь ему ничего не надо! Пропал племянник с подстаканником и ложками, не заходил уж к бабушке, околела индюшка.

Петушок идет, красно солнышко несет! – вспоминается бабушке, как Петька пел, часто-часто вспоминает она Петьку, Петушка своего. И тихо рассказывает, так тихо, будто спят в комнате или болен кто и боится она разбудить, потревожить голосом своим, все рассказывает и о индюшке, и о яйце чудесном, о петушке индейском, о

Разбойнике, и как строила она с Петькой заставу на Сухаревке, и как вернули ей Петьку с разорванной грудью, пробитым сердцем, окоченелого, и картуз Петькин с козырьком лаковым...

– Пошла я, батюшка, – тихо, еще тише, рассказывала бабушка, – пошла я свечечку поставить Божьей Матери обидящей, хочу поставить, а рука не подымается, – и подымала бабушка свою трясущуюся руку, но опускалась рука, это обида безвинная, горькая, смертельная опускала ей руку, горечью темнила глаза ей, и рука тряслась, все подняться хотела и не давалась, а синие пустые жилы крепко напряживались, крепко сжимались сухие пальцы, это сжимала она

свечечку Богородице обидящей, Матери Божией, которая обиды принимает безвинные, горькие, смертельные, все... – и поставила! – бабушка кивала головой и уж легко подымала руку так... у

чудотворцев московских, у Максима блаженного, Василия блаженного, Иоанна юродивого так руки, молебно подняты, и рука не тряслась, это свечку держала она, свой горящий, неугасимый огонек, сжигающий в сердце последнюю, безвинную, горькую, смертельную обиду, и глаза ее тихо теплились, это вера светилась в глазах ее крепкая, нерушимая, доносящая до последних дней свечечку, огонек святой через все беды, через всякую напасть, через все лишения, когда уж все отнято: петушок индейский, Петька, Петушок.

Комментарии

Впервые – Альманах издательства «Шиповник», кн. 16. Спб., 1911. Печатается по изданию:

Ремизов А. Подорожие. Спб., 1913.

Характерна надпись Ремизова, предназначенная для его жены Серафимы Павловны, на отдельном берлинском издании повести (1922): «А этот Петушок – память о революции 1905 года и первые мои пробы. Тернавцеву носил для букваря о Петьке, но в букварь не попал Петушок. Тут много из нашего записано житья-бытья: и иконы, и клубки веревок, и комод, который надо умеючи открывать – это жизнь наша на Рождественской и Кавалергардской» (

Кодрянская Н. Алексей Ремизов. С. 157; «Рождественская и Кавалергардская» – петербургские адреса Ремизова).

Примечания

1

...постановная... корова. – Постановная (диалект.) – ладная, статная.

2

Золоторотцы – бродяги, босяки.

3

...Московские чудотворцы – Максим блаженный, Василий блаженный, Иоанн юродивый... – Почитаемые в Москве святые, бывшие при жизни юродивыми, нищими «Христа ради»; Максим Юродивый умер 13 августа 1433 г., Василий Блаженный – 2 августа 1552 г., Иоанн Юродивый – 3 июля 1589 г.

4

Куран-петушок – Куран – индюк.

5

«Калечит-Малечина» – детская игра-считалочка.

6

Плануть – гореть, пылать.